Василий Троян

Из гурийской тетради

Я

1. «Волшебник-недоучка»

Не то чтобы я был уж очень артистичным, зато очень хотел быть артистичным. В детстве положено талантливым – рисовать, музицировать, ну, в крайнем случае, в секцию спортивную ходить. Спускаясь с двенадцатого этажа на первый в лифте или пешком, пробовал напевать «Волшебника-недоучку» и убеждался сам: верно говорят про медведя на ухо... Про волшебника-недоучку однако пел не зря: ему бы пошли кособокие кувшины, нарисованные мной на рисовании (оценка – «три с минусом»), или – спотыкающаяся резьба по дереву под папиным наблюдением... Папа-то – умелые руки, вот и со стен глядят с укоризной его чеканки с резьбой всякой – глядят, как папочка поправляет зарывшийся или соскользнувший резец сына. Волшебнику-недоучке сродни мое благоговение перед конструктором и разными моделями, которые еще собрать надо – но как? Ребенок вертит в руках гайку или шуруп и шепчет: поистине, вещь в себе.

Папе и маме на день рождения полагается произведение своих рук. Слепить? – только шарики из пластилина катать в ладонях умею. Нарисовать? – ну да, розочку на 8 марта рисовал вот так: * – похоже на розочку? Вырезать аппликации всякие – куда там, с танцующими ножницами в руках. На уроках труда что-нибудь бы выдумать, но не с этими же гудящими станками разговаривать? Хорошо, если пальцы не откусят. На выпускном экзамене по физике волшебник-недоучка теорию ответил на «пять», но какого же черта школьникам предлагают практические задачки типа: да будет свет!.. При виде угрожающих щупальцев клемм – сказал он, что это плохо, очень плохо!

В армии, когда у меня погас свет за планшетом, мне сказали: «Чини!» – «Вы что хотите, чтобы меня током убило?» Прапорщик Карпенко: «Раствор нужно вот так метать, вот так!» – «Ага, плюх!» – «Да не так мастерок-то, вот пиздобол!» Жижа, которая, по идее, должна стать стеной, расползается и плывет. Сержант Филя выливает ведро на пол и собирает воду тряпкой. Ведро вылить у меня получится, а собирать как? – вот и бегает вода от тряпки из угла в угол. А как красиво Филя тряпку выжимал! Только не впрок мне, жамкающему, доящему набухшую ткань. Всякие узелки и зацепки не давались мне сроду: сумку мне собирал Калачев, а рюкзак – дядя Марик, трубу паяльной лампой отогревал мне майор из секретного отдела... (Это когда я был кочегаром: мне – тепло, а он, как в революцию чекисты в многосерийных фильмах, в своем отделе в шинели сидит). Пол за меня подметали замкомбригады подполковник Жидко, старшина моей роты и комбат, вырывая друг у друга веник. Руки-крюки, сделать хотел козу, сделать хотел утюг – что получилось вдруг, как будто бы ясно. Но не совсем.

В спортсекции я вообще-то ходил крайне неохотно. В волейболе не научился ни подавать, ни на грудь планировать, а уж гасить и подавно. Невзлюбила меня к тому же тамошняя мафия – взялась за меня круто. Дрался я с маленьким чертенком, презлющим, так-сяк, а тут мне корзину на голову одели – дело было решено... Я плакал, но радовался – повод уйти из секции. На водном поло два занятия посетил, проплыл туда-сюда, ясно: ни Сапегой не стал, ни Мшвениадзе. А что же футбол? Уже в зрелом возрасте решил попытать счастье в Советском районе – вратарем. Играть в одной команде с богом Фиделем! – несбыточная мечта. Мячики-то в Советском районе крутились и звенели, и пальчики отгибали, и свистели, и в сетке шуршали, успокоившись только за спиной. На цыпочках унес свой стыд.

Значит, ни петь, ни рисовать, ни рекорды устанавливать, ни мастерить, ни даже пуговицу пришить. Даром со мною мучился самый искусный МАГ, всемогущий Маликов Александр Григорьевич. Как это он стремительно манипулирует бечевой! Вот бы мне так! Это было бы чудо. Суметь не умея – чудо, возможное только в мифе: недоучка, но ведь волшебник! Из трех волшебных желаний – какое бы выбрал? Первое – пианистом, второе – полиглотом, третье – память, что ли, заказать необъятную и стремительную? Нет, первое – футболистом, второе – каратистом, а уж третье – пианистом. А память как же и иностранные языки? Черт возьми, как распорядиться? Мечты... А пока как бы так извернуться, чтобы компенсировать отсутствие талантов?

2. Поэт

В девятом отряде пионерлагеря один мальчик, который, распределяя роли в палате, мне сказал – будешь Пупс, Сереге Горностаеву – будешь Крикс, а сам, сказал, буду Шеф (нетрудно убедиться, деловой мальчик), – вот он-то и сказал однажды в сердцах, после того, как я в очередной раз запорол уборку в палате (негодование Шефа разделили бы Филя и замкомбригады со старшиной – те, десять лет спустя); сказал пророческую фразу: «Ты ничего, кроме как читать и писать стихи, не умеешь». Пророки сперва ошибаются – таким афоризмом я бы отметил своеобразие ситуации: ни читать, ни писать стихов тогда я, конечно, не умел.

Но свойственна мне уже тогда была, пользуясь удачным выражением Лещука, «дурная публичность»: рвался на сцену пионерлагеря всеми правдами-неправдами, даже, помню, кувырки хотел показывать, тоже мне гуттаперчевый мальчик! Кувырки нам пригодятся как материал для метафоры, а у Красновой, худрука, такое не проходило: ее критерий был – сальто и шпагат. А вот читать звонкие пионерские вирши пригодился. Набрать побольше воздуха и прокричать шинельную оду линейке – волнующемуся каре белых рубашек, трепещущим язычкам галстуков – так прокричать, чтобы грамоту дали. Гусиная кожа под белой рубашкой на факельном шествии: как бы не забыть слова ритуальной речовки, когда никто не забыт, ничто не забыто, а в горле катаются слезы? Теперь уж не забуду никогда: «Самолет направляет Гастелло // На колонну фашистских машин, // В тыл бесстрашная Зоя уходит, // Кошевой краснодонцев зовет, // И Матросов с гранатой на взводе // К амбразуре фашистской ползет!»

Пионерский ритуал – чем не пролог к мифу? Ведь и факелы не с неба же взялись (хотя, по мифу, взялись именно с неба): во всяком случае, у древних позаимствованы. Ритуал и стихи, порожденные ритуалом, – держим в уме. Однако Краснова пошла дальше: выбрала для меня из Заходера сольный номер – стихотворение про некоего лентяя, завидующего бегемоту: «Замечательно живет // В зоопарке бегемот. // У него огромный рот, // А забот наоборот». Имел успех. На гребне успеха – предпринял первый «кувырок»: сочинил стишок под хазановскую пародию на Рождественского: «Надо иметь в боксе // Огромные кулачищи, // Чтоб можно было // Проломить корабля днище. // Надо учиться отлично, // Особенно по рисованию, // Чтоб рисовать кистью // На соревнованиях». Успех ошеломляющий. На «улице» узнавали в

пределах маленького государства, каким мне всегда представлялся пионерлагерь. Стать в нем неформальным лидером – было едва ли возможно, а вот получить грамоту (лучше две) – реальный план. Неформальное лидерство оставил для грез после отбоя, а вот тем прославился, что такой стишок написал – грамота обеспечена. Первый опыт, заметим, был пародией на пародию. Вместо детской непосредственности – словесная игра на пустом месте: из меня такой же боксер, как и рисовальщик. Мне было десять лет, и я был не Ника Турбина.

Следующий опыт – года через четыре, в восьмидесятом. Тогдашнее стихотворение было принципиально написано на случай – не мой и немой – ничего не говоривший лирическому «я». Будущий биограф напишет с подачи Шайтанова: «Поэт с детства был обречен на мертвый звук». Вот и в четырнадцать лет: поэтический опыт был посвящен чемпионке лагеря по многоборью Динаре – я звал ее Дианой. Подростковая влюбленность? Ничуть. Диана безраздельно принадлежала кудрявому Женьке, а я только «кувыркался», упражняясь в условном стихотворстве: «Подобно солнцу излучаешь ты сиянье, // Легка твоя походка и тверда, // В твоих движеньях пластика и обаянье. // А сколько мысли в складочках у рта! // Глаза твои – чистейшие сапфиры, // А нос твой – совершенства эталон, // И запах тела не земной, а будто миррой // Твой стан окутан тонкий. Аполлон! // Зачем ты дразнишь нас, ничтожных, право? // Зачем такую ты рождаешь красоту? // И я страдаю, мучаюсь бесславно // И в страсти горькую терплю нужду». Увы, моя первая муза звалась Дианой, и с тех пор мой выбор жесток: кем быть – Ипполитом или Актеоном?

В дальнейшем – все те же «кувырки» пастиша. А цель? Присвоение поэзии, кража таланта с парнасских складов.

Но вот в шестнадцать лет – случился лирический прорыв. «Весна» стала рифмоваться с «без сна». Открыл стихию в себе: стихи были неизбежны. Захлебнулся лирикой: «Вселенная, Вселенная – и крест. // Иисус распят – Иисус воскрес. // Пусть будем счастливы в любви, удачливы по службе и богаты, // Но никогда не будем мы распяты // И не воскреснем никогда». «Любить – Жить. // Не любить – убить. // Не любить – преступление, // Смертоносное безделье, // Бесцелие». «О, душа моя, // Разжиревшая свинья, // На даровых харчах // Цветок зачах, цветок зачах». Вот такой порыв. Порыв иссяк, а творчество – по-прежнему заветная цель. Что делать? Играть в поэзию.

В Мирном (1982–83 гг.) за партой передо мной сидели две уродины. Две влиятельные уродины – то был период их шефства надо мной. Одной из них – той, что поуродливее, – посвятил очередной пародический опыт. Весь эффект был, легко догадаться, в несоответствии слов и чувств. Больше всего я хотел улететь из Мирного обратно в Москву. В этом желании была страсть, идея-фикс; «Поскорей бы не видеть уродин за партой передо мной», – вот это было бы лирическое высказывание. Я же – ради «кувырка» – имитировал отчаянное прощание: «Что ж осталось? Только память. // До черты – черт воскрешенье, // В зыбких водах отраженья. // Отражениям таять, таять»...

В Нижнем (1983–84 гг.) мы сидели со Зверевой каждой ночью до четырех – на подоконнике. Она была нежна. Я был невинен. Ситуация, которая была предвидена Лией Старосельской на Дне Первокурсника. Для какого-то конкурса там надо было построить аллегорическую фигуру. Я встал на стол, предварительно указав каждой из девяти девчонок, какую им позу принять: одна должна воздеть ко мне руки, стоя на коленях, другая должна воздеть ко мне руки, как-то по-другому стоя на коленях, и так далее, сам же я – стоя на столе с поднятой правой рукой – сказал: «Я – Аполлон». Все должны были понять, что девять девочек вокруг меня – девять муз. Тут-то Старосельская, пятикурсница с КВН-овской жилкой, и напророчила: «Они стремятся к нему, а он к знаниям».

Уносился к знаниям с подоконника, а в стишке писал, отдавая дань донновскому «Going to bed», будто я-де искатель прелестей, а она – отказ: «Я смотрю на Ленку – // Страсть из-под ресниц. // Ах, попал я в плен к ней, // В сети, в клетку, в плен к ней – // Упадаю ниц»; «Голые две стенки // Венчаются окном. // Голые коленки, // Ленкины коленки — // Запретом и замком». Рассматривая в микроскоп следы своей музы, замечаю: стихи не были самоцелью, но, пожалуй, средством мифологизировать быт, перевести явление повседневности на язык поэтической игры.

Вот Казанский сошелся с Ару. Моя реакция – баллада-эпиграмма: «Средь знойныя долины Дагестана // Цвела цветок любви – Арушаняна. // В пустынныя пустыне мексиканской // Росла колючка злобная – Казанский».

Или – лекция по старославу. Лекторша предавалась диахронии. Как же менялось качество губных звуков, как же при них развивался вторичный вставной звук? А я пишу свою «Любовную песнь на старославянском»: «Но почему губная артикуляция речей любви // Так далека от язычной? // Языческой! Оргии язы-

ческим богам, // Славянских языков и губ сплетенье». «Помнишь тот призвук, // Что при губах развивался – легкий, вторичный, вставной?..» Лекторша рассказывала, как в разных славянских языках произносится слово «свеча». Я записывал: «Кап! Капнула капелька – воск раскаленный – мозг воспаленный. // Кап! Только не капайте мне на мозги – не надо!» Так я выражал свое отношение к старославу. Но отношение к старославу задано, не в нем было дело, а разве в отношении к отношению к старославу, в желании обыграть старослав – говорю я, пытаясь использовать два значения слова «обыграть», старательно намекая, что здесь не только спор приема с материалом, но и отчаянный спорт.

Получилась двусмысленность? Но за двусмысленным выражением – двусмысленное положение. Что это я? – все о любви, да о любви писал? Не могу не вернуться к этому разговору. Речь о любви, потому что о любви не было и речи. Босые пятки по коридору в пионерлагере, с лестничной площадки – полоски света: завернувшись в простыни, пробегали пионеры в правое крыло корпуса, где и совершался весь этот ночной шепот и скрип кроватей, а в коридоре – целомудренные поцелуи, смех то здесь, то там: «А она дала мне грудь пощупать». Рассказывая об этом, я слегка рискую – вот и Аникеевой рассказывал – уже когда был вожатым: а я, говорю, в этом участия не принимал. Дура, должна же была понять, что в этой откровенности – прием, ретардация, что я кручу миф, где Иван не станет царевичем без дураков. «They giggled fit do die» – Аникеева с Лидой, за животики держались. Самоирония – любимое зеркало Нарцисса, у которого не получилось с Эхо. Аникеева – ведь факт, равна себе, только толще – ну что толку, что я сейчас ей мщу, если тогда, задумав обыграть факт перед фактом, задумав признание-«кувырок»: «Не получилось у меня», я услышал только смех, и толстое эхо повторило, кривляясь, дескать, «не получилось у меня», и повторяло раз за разом все вожатское лето. «Не получилось у меня», – говорила Аникеева, делая губы дугой и беспомощно разводя руками. «Не получилось у меня», – эхом повторяла за ней Лида, поднимая брови и делая жалобные глаза. И фыркают: очень смешно!

А в армии решил рассказать одному hot-shot guy из Челябинска, как волшебно мне жилось на гражданке, в мифическом Нижнем, который в палатке среди песков Балхашского полигона мной воспринимался как пятно, как чертово колесо, как диафильм в коробочке, как... миф? – услужливо подскажет читатель, в пятисотый раз произнесенное «миф»? – именно как миф, – скажу и в

пятьсот первый раз, ибо повторение слов входит в поэтику мифа: хождение кругами, тавтология и всякое тождество. Миф, миф и еще раз миф, Нижний был мифом, был мифом. Непосредственным поводом, чтобы заглянуть в этот... мир был рассказ челябинского заправского парня о том, как он на гражданке играл в сардинок. В ночной избе набивалось народу, и ну друг друга любить по каким-то темным правилам! Я ужасно смеялся; а вот поэтическая и странная зарисовка, – говорю. Представь площадь. Скамейку. На ней Ару с Казанским – и я. Они целуются. Губы влажные, алые. Глаза тоже влажные, с искоркой. А я там что? А я с томиком переводов Шелли и Китса – третий. Читаю: «Безутешный соловей заливается в бреду. // Смертной мукою и я постепенно изойду».

Вытягиваю шею поближе к слитному дыханию, оставляющему на губах росу. Это ирония, объясняю я челябинцу, это подчеркнутое: я – третий, это игра в третьего, игра в треугольник, маленький спектакль, большая трагедия, всеобъемлющий миф, а тетка, проходя мимо скамейки, не может сдержать смеха, Казанский улыбается, Ару же, чуть запрокинув голову, показывает белые зубы. «Тебя должны судить», – сказал челябинский плэйбой. – «То есть??» – За распыление семенного фонда». Узбеки, айзеры, хохлы, дагестанцы, аварцы, татары, русские, армяне, Мамуладзе из Батуми, от которого рукой подать до Ланчхути, казахи, уйгуры, курды, каждой твари по паре, спрашивали у меня, видел ли я живую пизду? «Нет», – отвечал я. Зато стихи писал на старославе про любовь. Вот какая игра на старославе. И миф? – спросит догадливый читатель. И миф.

Писал Зверевой. Писал на восьмое марта Горшковой: «Томный цветок коварный – // Лилия благоуханная, // Твой аромат несравненный // И узор твоих лепестков изящных // Отраду забвенья сулят. // Но боясь приблизиться я, // Ах, боюсь, ты цветок коварный, сердце мне разобьешь». Такая разобьет сердце, толстая, как Аникеева!

Так вот, конкретный адресат, стихи на случай – это только подступ к мифу. Вот читайте:

П.Калачев

Небо замок – руины
Верность страсть – сполох
вещей жизни картина –
сердца переполох
Сердце цепью сдавлено

Кровью душа кричит
Святости море отравлено
Последний стакан налит
Пьяное взбрызни радугой
Пенная ночь умчись
День разрастись громадиной
Смерью моей улыбнись.

А это я

Игры страстей,
Ненавистей:
Плаха, огонь,
Желчь, кровь, оскал,
(Вопли: отколь?)

Был скот ведом
Свыше. Восстал
Снизу, влеком
Змеем? — Нутром,
Глазом! Умом?
Чревом! И путь:
Яблоко — зуб —
Сок — кровь — пах — тел
Поиски — губ
Поиски — ртуть
Вверх — там (вопрос!)
Что? Се вокруг
Что? (Вот пророс
Вглубь. Рвется вон!)
Я — Кто? и плен
Вечный — и круг
Вечный — и грех
Смертный — и тлен
Смрадный — и смех
Мрачный — вновь
Крик, страх, обман,
Прах, пресс, сон, кровь —
Гонка в туман...
(Вопли — доколь?)
Игры страстей,
Ненавистей.

Прочитали? О да (боже мой, какая белиберда!), после калачевского «Смерью моей улыбнись», что такое «Original sin», уж я-то знаю. Кольцевая композиция. Рифма отыскивается иногда ря-

дом, а иногда восьмью строками ниже. Классно придумано. У Казанского с Калачевым, которым я показал это, истерика: на парты попадали, а смеются – надо мной: греха вкусил или Цветаевой накушался? Черновые наброски еще круче. Хор из оперы «УПК»: «Любовь в основе мирозданья, // Любовь – двух атомов слиянье // В молекулу, переплетенье // Двух нитей ДНК, растений // Стремленье к солнцу, // Солнца ласки // Ответные. И страсти пляски, // Когда в период брачный самки // Самцов манят. В экстазе ранки // Укусов нежных след оставляют // Самцы подругам. Когда ж встречают // Соперника...» «Ранки укусов нежных» – это ж умереть можно! Далее: пролетарий Работа, томясь от страсти к Болтуновой в опере «УПК», признается своему другу-пролетарию и сопернику Тигру: «Из розовых теней мое воображенье лепит // Стан тугобедрый, // Груди, как плоды, упруги...» Далее: «Станок я обнимаю, тиски поглаживаю». Это речитатив. А Тигр ему в ответ арию: «Как древле Каин // Взалкал от порока, // Как солнце злата // Иудину сердцу, // Как в первые ночи // Трепещет блудница, // Так у окраин // Предела от рока // Любви – расплата». Волшебник-недоучка сочинял: ошибка в управлении – раз («взалкал от порока» вместо «взалкал порока»), логическая ошибка – два (если блудница, то ночи не первые, если же ночи первые, то не блудница), что же такое «окраины предела от рока» (кроме непреднамеренного «отроческого» каламбура) – ей богу, сам не знаю.

Вот наплел – чтобы сыграть, сыграть вернее, чем прожить, вернее, чем «Любить – жить, не любить – убить». «Не любить – преступление» – по челябинскому ловцу сардинок. Но нужно связать Звереву, Горшкову, Болтунову, змея, Адама с Евой, «как древле Каина» – и преобразить все это в ми... – о чем я уже говорил – фе.

«Выходи за меня», – говорил я Ольге из Нижнего, – Я тебе буду стихи читать». – «Это в одиннадцать, а в двенадцать что будешь делать?» Итак, я писал «Любовную песнь на старославянском» – продолжение всех этих условных «выходи за меня», а, может быть, начало волшебства, чего-то вроде магии слова? И что же вы думаете? Чудо случилось. Явился ангел («angel-infancy») из моей будущей диссертации. Представьте: лекция вынуждает вывихнуть челюсти в зевоте, скука смертная, лекторша – седая, усталая: вытащишь англо-русский словарь – попереводить, подойдет, как тень, и не выгонит, а скажет тихо: «Уберите». Снова вытащишь – снова подойдет. Сама Прозерпина в старославянском Элизиуме. Шуршание мела, шелест тетрадей. Медленные волны диахронии. И тут дверь открывается, влетает девочка лет пяти: «Мама, я нашла себе

подружку, чтобы с ней играть!» – да звонко так! Прозерпина становится Весной: улыбается, смущается, расцветает. А моя мама тогда была в Мирном, но есть страна еще дальше.

А в деканате меня спрашивали: «Слушай, как ты относишься к Казанскому, что думаешь о нем?» – «Гений». – «А Калачев?» – «Гений». Калачев – обо мне: – «Гений». Казанского – о нас: – «Гении». А куратор группы начинала свои речи всегда так: «Вы, конечно, гений, но... Но все же вы не Бодуэн де Куртенэ, я не Фердинанд де Соссюр». Справедливо.

В армии, однако, случился новый лирический прилив: «Я сегодня высоко настроен. // Почему же нет такой мечты, // Чтобы был я счастья удостоен // Ей служить, не внемля суеты?»; «Мне снится бездна голубая // И розовое солнце из-под век. // Благословенна участь мне любая, // И что под богом ходит человек». Про высокий настрой сочинил, мечтательно гуляя между КП и капонирами. А про бездну голубую – на ПВНе, глядя в голубое небо и сонно щурясь на неизменное солнце. Закончил за планшетом: «Мир под рукой, а сердце бьется, // И вена наполняется, дрожит. // На то и жизнь, чтоб жить, пока живется, // На то и смерть – пока живется, жить». Откровение, надо же! Но ведь чувствовал же я момент истины за планшетом! Трудно поверить, но факт.

На пост ходил, засунув в штаны за гимнастерку Бунина и С.Аксакова и закрепив ремнем. После отбоя читал Чивилихина «Память». А что? – он о моих Кузьминках написал. И вот я уже пишу Гаррисону: «Гаррисон, учись любить Русь!» В стихах – та же косоворотка: «Понимаешь ты, как отрадны мне // И свинец и стынь // На родной земле!» Так сочинял, а еще каялся: «Я не дрянь, а только не мужчина – // Мотылек, порхающий в лучах. // Будет срок, повеет мертвечиной // От души, погрязшей в сладких снах». Интересно, настал уже этот срок?

А о любви писал? – уж конечно, вовсю призывал ее в ночном карауле: «Бродит узкий месяц в остром забытьи, // Лают псы цепные на его рога. // И его просторы – звездные луга, // И его дороги – горнии пути. // Вот и я к ночи вышел, вот дышу весной. // Ну же, мое сердце, вздрогни ото сна! // Слышишь, небо, слышишь мой звериный вой, // Чтобы в мое сердце хлынула весна!» Или даже так: «Чего-то ждет, томится моя кровь, // Звездою дальней светит мне любовь». Как же нужно глубоко чувствовать, чтобы рифмовать «любовь» и «кровь»? Я чувствовал глубоко. Писал плохо – увы, не таков ли закон? Лучше всего о дембеле, почему – скажем ниже: «Ну что ж, прощайте, командиры! // Прощайте, горы

и Айвадж! // Печать и подпись: в этом мире // Теперь уже не данник ваш». Дневальный по роте, дневальный по звездам, // Дневальный по ночи и белой луне. // Все это мое, я для этого создан. // Стою и мечтаю о будущем дне». И, пожалуй, останется стихотворение, которое я сыграл – без вдохновенья:

No, I'm not prince Hamlet, neither meant to be

T.S.Eliot

Нет, я не Гамлет, и не буду им.
Рассыплюсь в прах, проглотит ночь меня,
Но на вершине розового дня
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.

Лишь тлеет светоч, очи застит дым,
Творятся в мире скверные дела,
Но мне природа островок дала.
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.

Немало нас, и мы на том стоим.
Мы – зрители в театре. В корчах принц.
Играет кровь, стекает сок с ресниц.
Я счастлив положением своим.
Нет, я не Гамлет, и не буду им.

Нет, я не Гамлет, и не был им тогда, но армия ведь – удивительная вещь: химическая реакция, а в осадке – Джекиль или Хайд. В столовой или на разводе солдат – зверь с печальными глазами, а за планшетом, на ПВНе, во время ночных прогулок с автоматом или следя за белым облачком, вылетевшим из кочегарской трубы к тяжелой душанбинской луне, солдат – поэт, идущий древней тропой тропа, извилистой тропой тропа, – идущий с автоматом в слепой и славной первобытности, не имеющий готового понятия, чтобы с ним выжить, цепко держащийся за метафору и метонимию. А ведь это опять миф! И в нем мир делится на две части: «низ» службы-чужбины и «верх» гражданки-дома, где гурии будут ласкать правоверного дембеля. Солдат жесток, жаден, завистлив, труслив, низок, жалок, падок, слаб и т.д., и еще умножьте на три: зверь среди зверей, мистер Хайд, придерживающийся субординации по отношению к «порядку клева». А ночью с автоматом выходит прозрачный путник, освободившийся ангел Джекиль: чист, светел, любвеобилен, прост, добр, чуток, не от

мира сего. Чудовище мечтает нажраться на гражданке, отрок пишет стихи. Но это не мои стихи, вот разве одно: о том, что я хочу только перейти это поле, пусть все утонет в фарисействе, о том, что кровь не холодеет. И как там еще у Тикамуры? «Дайте живому жить, как он хочет, пока не смоет его этот дождь».

Гражданка – это крах. «Гурия» вышла в высшую лигу, но никаких гурий. И никаких стихов: хоть бы объедки пародии! Только опыты на восьмое марта козлихам из второй группы – ну не насмешка ли над собой? «А Браверман бравурно манит, // Не подведет и не обманет. // Она дана на радость нам. // Бравурно манит Браверман». В том-то и дело, что подвела и обманула, и с 87 года от этой бравой Браверман горчит. Говорят, она уже в Америке. Последняя толстая муза, прощай! Уродины на парте передо мной, Горшкова и Браверман! Я писал вам эти стихи. Это иллокутивное самоубийство! Я хочу еще жить. Говорю так, потому что мне является Муза – настоящая, бесплотная. Потому что состоялся миф, собравший все прежние попытки мифа.

1987 год. Первый гурийский поход. Вдруг непогодой сдуло всех байдарочников – в один миг собрались, и мы остались втроем – т.Тамара, д.Марик и я. Трое в лодке, не считая гурийской тетради. Грустно, а как бы так сделать, чтобы стало весело? В голове вертится дурацкая песенка д. Семена: «Мы духовные начала высшим благом признаем». Мерный взмах весла, пасмурные брызги, нос лодки нервно режет воду. Муза шепнула: пиши под весло. «Что, опять экзерсисы?» – недоверчиво спросил я. – «Не спеши», – возразила она.

Элегия

т.Тамаре и д.Марику

Мы духовные начала высшим благом признаем.
С.Гребенников

Глоссы: Туристы, оставленные шумной компанией, путешествуют одни и попадают под власть незнаемых сил, во власть движения, покоя и тоски.

Три потомка Агасфера
По Мологе по реке
За бродячею химерой
В одиноком челноке

Все плывут, и годы, годы
Будут плыть в немой тоске

Три старинных морехода
По Мологе по реке.

Раньше как? Лишь солнце встанет,
Слижет хвойную росу,
Тут же многолюдство в стане,
Эхо звонкое в лесу.

Было время: клином, хором
Остроносые суда
По волнистым коридорам
Шли беспечно. Ныне ж... Да!

Миновалось, отшумело.
В мерном плеске сонных вод
Проплывают сонны села
До неведомых широт.

Вечный ход. И все к Востоку
Правят вечные пловцы –
По Мологе до притоков
Стикс, Ахеронт и Коцит.

Эти трое, как в начале,
Все еще поют втроем:
«Мы духовные начала
Высшим благом признаем».

Только уж напев не светел,
Только уж затвержен он:
Где кричал веселый петел,
Стонет мрачный Алкинон.

Поэтическая инициация в непогоду. Как я скреб бачок по окончании плавания! Водичка и песок – вдруг слышу музы голосок. Пора: пиши стихи, не умеющий писать стихов, ибо так сказал Шеф – и да будет так! За что ты, Шеф, изгнал меня из палаты? Зачем ты вручил мне цевницу? Не ставьте мне монументов! Дайте мне шанс – я буду хорошо убираться в палате.

Так я начал писать гурийские стихи. Попробуйте сказать, что они не талантливые! Когда Федоткин назвал гурийские стихи дурийскими, я заболел. Не то чтобы я был уж очень артистичным, зато очень хотел быть артистичным. Так хотел, что стал. Попробуйте сказать, что не стал! Тогда я не просто заболею, я умру, стану лужицей или жабой. Не блеф, но миф.

А согнувшись над бочком, словно выполняя наряд, данный Шефом, сочинил так себе первый гурийский стишок.

3. Художник

Итак, по рисованию тройбан. Но и здесь не обошлось без феи. Классе в седьмом (или в шестом?) пришла новая учительница по музыке, она же по рисованию. Окончила училище Ипполитова-Иванова, хрупкая такая, дореволюционная. Очень хотела влить в наши уши музыку, нажимая на педали расстроенного фортепьяно, опускала иглу усталого проигрывателя... конечно, проиграла. Под Моцарта или под Бетховена Чаадаева зацепила Фейзуханову (одна – пловчиха, другая – лыжница)? Яростная схватка с равными шансами, кувыркается парта, а я первый колочу по своей парте, выкрикивая: «Убей ее! Сделай ей больно!» А хрупкая-то наша, трепещущая, с блестящей слезой, что она скажет побледневшими губами? – «Девочки, девочки...» Каким ветром тебя занесло в нашу школу, птичка из нотной грамоты?

Это она задала творческую импровизацию: нарисовать под Стравинского. Вот это по мне! Рисую звезды – опорный знак: то есть музыка есть нечто высокое. Кроме того, музыка есть нечто неопределенное. Рисую нечто неопределенное. «Очень интересно», – сказала фея и поставила пять.

Через пять лет я начал играть в художника. Хватит рисовать шпаги, рыцарские шлемы и профили всякие, пришла пора составить систему, в которой «двойка» по рисованию («тройка с минусом» была ведь подарком) должна совершить «кувырок», встать на голову – чтобы поражение стало победой, дурак царевичем, а младший брат наследником.

Получилось. Кто только не вертел мои опыты, приговаривая: очень интересно, как фея-музыкантша. А я хихикал: чудо!

Началось с аллегории. Нарисовал какую-то чушь перьевой ручкой; возьми и назови ее «Бегство Гектора»! Потом пришло в голову подарить Кочкиной да прибавить толкование. Какую бы дурную завитушку перо не оставило – все можно интерпретировать. За изображением стоит миф; отсюда – чем «автоматическое рисование» хуже «автоматического письма»? Техника такая: сначала рисуется бог знает что, а потом придумывается название и объяснение. В соавторстве с Калачевым, к примеру, строим объект из циркулей, стержней и прочей дряни, предполагаем тут загадку – и ну разгадывать! Такова тенденция: строить осмысленный мир из мусора, из остатков: бой быту!

Сидя в общагской комнате Ару, рисовал женщину: вареньем, губной помадой, какой-то мазью красной и всякой другой косметикой. Подумал и назвал: «Плач Андромахи», а идею присовокупил следующую: трагическое величие женщины безобразно. Картина пахнет, липнет, мажется – славно! – тем больше органики! – а воспринимающий все это безобразие, разложение, вонь должен воскликнуть: «Боже, как она его любит! Сколько величественного! Эффект остранения!» А мухи будут слетаться на варенье, как будто почуяв кровь Андромахи, то есть как птицы на Апеллесов виноград. Папаша не прочел всего этого и выкинул шедевр, а в придачу и всю стопку шедевров, измазанную женской помадой и вареньем. – «А то правда мухи летают».

Войдя в игру, пустился рисовать в разных жанрах, разнообразить технику, а концептов уж всяких – завались! Рисуем с Ильей бурное извержение вулкана: важен не только итог, но и процесс. Лист на полу, мы льем (извергаем) на него гуашь, поправляя стихию карандашом, пальцем, едва ли не носом. Известно, что искусство влияет на жизнь, особенно если переборщить с мифотворчеством. В Илюшиной квартире тогда временно жила весьма взбалмошная девчонка, и ей хотелось поиграть. «Мы заняты, – сказали мы ей, – видишь, рисуем». – «Я с вами». – «Нельзя». – «Нет, можно». Тогда мы закрываем дверь в комнату, а я наваливаюсь на нее спиной. Продолжаем рисовать. Но ничего не поделаешь: происходит реализация метафоры. Проклятая девчонка пытается брать дверь с разбега: бурные толчки, в ритм нарисованному вулкану. Далее метафора раскручивается по ассоциации. Пылающий вулкан надо потушить, и вот уже обнаглевшее дитя поливает нас водой через дверь. Мы терпели с улыбкой, но надо знать Илью. С виду он спокоен, как удав, флегматик непоколебимый, но что у него внутри? Как вулкан до времени скрывает бурную лаву, так и что выкинет Илья, что извергнется из Ильи и когда это произойдет, не подскажет никакой психолог-сейсмолог. Например: папа Ильи – д.Марик – бежит себе трусцой, прибегает домой, фыркает под душем, вышел из душа в халате будничном, а ему – бац! – Илюша-то уже в поезде и молодой солдат. Маленькие, но Помпеи. Ну а девчонка? По поводу девчонки у Илюши случилась истерика – репетиция будущих внезапных страстей. «Это детский фашизм!» – выбрасывал он слова, как кипящую лаву. «Это омерзительно!» – орал он, потрясая кулаками

над «бедным ребенком». «Погода в Лондоне испортилась с тех пор, как лондонские художники увлеклись туманами», – говорил О.Уайльд. Так что в следующий раз поосторожнее.

Лучше нарисовать что-нибудь из серии «грех и вечное блаженство». Например, дать схему «мать – дитя»: не ново, особенно если рисовать толком не умеешь. Но хватит и двух точек, чтобы, повертев в руках листок, любой воскликнул: а вот это интересно! Поставим точку-значок в самый уголок глаза младенцу и матери, чтобы обратили они друг на друга подозрительный косой взгляд – какой хитрый знак получился! Вот так: волшебник-недоучка хитер. Обнаженную Хелену Фебенгерову (чешскую метательницу толщины непомерной) нужно изобразить в доспехах ее наготы (фломастеры, 1984). Луг и цветочки для Пряниковой – потыкать фломастером и сказать: пуантилизм. Рисуем троянского коня: желтым фоном мозаику лиц, а поверх зеленым фломастером неопределенный знак морды и зубов (прием: несоответствие названия и изображения плюс пародийный намек на Гернику). И вдруг почувствуешь, что рука чуть-чуть приспособилась и уж тогда раскроешься: банально, но трогательно.

На площади Минина бил фонтан. Я набирал в рот воды и бегал за Ару. Калачев и Казанский сидели на дипломатах. Май 1984 г. – солнышко светит, уголок рта измазан кремом пирожного, которое было моим обедом плюс двести грамм мороженного. Торопясь, плюясь крошками и размахивая руками, я уплетал пирожное в «Козе», потом к фонтану, у которого на скамейке сидим с Ару и Пряниковой, Калачев с Казанским на дипломатах. О чем-то хохочем, я набираю в рот воды и поливаю Казанского. Казанский хочет запомнить побольше стихов перед армией: будет про себя их повторять. Калачев еще на Урале узнал цену греха. Боже мой, как это необычно! Ару говорит: «Нарисуй мне что-нибудь». Я беру черный мелок, достаю альбом – пять минут – и готово! «Девушка на скале». Восхитительная пауза над листком, скамейка плывет среди маршруток 1 и 4 и 13 троллейбуса. Кирпич Кремля, Минин, «Коза», факультет, увиденные в магическом кристалле фонтана, мгновенная догадка о том, что небо-то какое голубое, а центр мира – группа первокурсников, склонившихся над моим рисунком. Всем друзьям роздал по рисунку и наказал хранить под стеклом.

А в армии деревенский парень Куликов, забирая свой портрет, прослезился.

«Товарищ прапорщик», – говорю уже в Айвадже, – похоже на вас вышло?» – «Что-то есть», – угрюмо отвечает Карпенко.

Когда Круглов привез через полгода после дембеля альбом, отобранный замполитом за то, что я Карпенко не по уставу нарисовал, я уже вышел из игры. Было не до этого: «Гурия» вышла в высшую лигу. И только через пять лет, когда Пряникова сказала: «нарисуй крысу», я взял принесенные ею мелки и задумчиво провел жирную линию, Пряникова взвизгнула, Калачев начал отнимать, спрятал, она нашла, он нашел и уже спрятал так, что не найти... Я смотрел на эту возню и игру, думая про себя: «Вот оно как в мифе», и смеялся идиотским смехом. И наверняка смех защекотал в это время уже постаревшую фею мою, которая где – бог весть.

4. Певец

Спускался, говорю, с двенадцатого этажа и пел «Волшебника-недоучку». Не получалось. А коли уж не получается, нужно петь непременно публично и погромче. С тех пор, как родичи купили магнитофон «Романтик» и тот запел «Come taste the band» Deep Purple и «Can we can» Susi Quatro, мой репертуар тоже изменился.

Только прозвенит звонок с урока, я начинаю бить каблуком в гулкий пол плюс ладонями по парте, во все горло запевая: «Sometimes I feel like a motherless child». Так пропел все перемены в школе, на первом курсе не успокоился, продолжил в армии, и только в Москве, на втором курсе, кто-то из второй группы досадливо поморщился: «Ты когда-нибудь замолчишь? – голова болит». Действительно, помолчать бы. Ведь вокруг кого девчонки обычно в кружок собираются? Вокруг тех, кто на гитаре играет. А на сцене можно и на барабане стучать. Но даже эта нехитрая музыкальная грамота мне всегда казалась китайской.

Когда я играл на первом курсе в труппе «English club», мы должны были исполнять всякие песенки хором, приятными, по возможности, голосами: «Snowflakes falling down», «Pardon me, boys, is this English club station?» Мне сказали: открывай рот, но чтоб ни звука, как звезда под фонограмму. Не было мне места в хоре, а значит в мирозданье. Но вот Пиманова, которая жила с Ару в одной комнате в общаге, распевается: пробует свой поставленный голос, сетуя на неверную фортуну, что не дала ей певческой карьеры, это при таком-то голосе. А я вдруг чувствую свою «fullthroated ease» и, прозвенев губами, коснувшись нёба струной языка, войдя в ритм гулкого пола, начинаю такой рок-н-ролл, что даже у Казанского глаза смеются, а Пиманова дает мне надежду: «Что-то в этом есть», – говорит.

В гостях у Кати, которая через три года все же поступит в консерваторию, нимало не смущаясь, исполняю арию Розины. «Хорошо», – говорит Катя (читай: причудливо, читай: прием, читай: «кувырок», такое «не-хорошо», которому аплодируют: «ох, хорошо!»). Эту ноту я не возьму, да и не знаю, как взять, вот и нужно сыграть на паузе, на шепоте, пропустив, но с намеком: не голос, но жест. Ведь и слов песен по-английски никогда не знал, но пел потарабарски с английским «R». Репертуар узок, а потому создается впечатление широты. На перекурах в горах, по пути в Ланчхути (1988), не напевал, но пел – громко, на публику: «Private dancer, dancer for money», «Red rain is falling down, falling down all over me», «A vocation in the foreign land, uncle Sam does the best he can».

Что же я так выхожу из себя? Ведь однажды уже доигрался в «человека-оркестр», попал в сюжет, о котором вкратце.

Началось все в поезде, который тащился в Душанбе с грузом новобранцев. Бритый лоб, липкий пот в раскаленном вагоне, вялая мечта, чтобы все это было отменено. Надо с кем-нибудь познакомиться, в чем-то сойтись. Робко напеваю себе под нос, но с умыслом: Леня Иванов, который уже успел лекцию прочитать, какие рецепты «Камасутры» он использовал на гражданке, который каратист и двадцати пяти лет – вот бы ему рекомендоваться! – о музыке поговорить комильфо... Услышал: да спой ты погромче! Меня два раза просить не надо. «Глория!» – хриплю.

Пять минут – и слева-справа любопытные рожи, потные, злые: «Кто такой? откуда взялся?» А вскоре уже на верхних-нижних полках набилась бритая публика, ощерила рты, орет. А я, глупый, рад: чем не сцена? Стучу ногой, трясусь, в раж вхожу: «I need you, I want you», «I want to ride my bicycle», «Everybody laughed, when I kissed the teacher». Нетрудно догадаться, дальше пошла цепная реакция. Сержанты в учебке заводят в бытовку: «пой!» Левый отсек учебки, где куча азербайджанцев; там, в ленинской комнате, уже сидит публика: «пой!» Штабники в курилке: «пой!» Лежу в госпитале, но и туда дошли слухи; в одной палате со мной лежали дагестанец-дед и таджик только что их Афгана; хором: «пой!» А пол в госпитале был, скажу я вам, преотменнейший, и вот уже я беру реванш за то, что не дали мне спеть в «English club» в хоре: «Pardon me, boys», наслаждаясь гулким ритмом.

Вызывают в другую палату, туда, где лежал мой тогдашний супостат, – Сагомонян. Ара вышел и какой-то хохол с видом добродушного душегубства подначил: «Ну, сбацай что-нибудь» – и

плечами крутит, меня показывая. Чую неладное. Другой: «Что, сука, чуркам поешь, а нам спеть не хочешь?» Рожа зверская, зане ары в свое время хорошо с ним поработали. «Ну, стирай мою робу, – это хохол говорит, – или уж пой!» Головой мотаю, как Марат Козей. Хохол не понимает. «Герой? – говорит, – А арам петь не герой? Или ты дурной?»

Я был дурной. Видите ли, решил взять артистизмом, а здесь такой артист, как Виктор Хара – Пиночету. Далее: снова поезд, везущий меня на этот раз в бухарские пески – на химполигон. Импровизированные нары в товарняке, скученность дикая, ну и скучища дедам. Чем бы заняться? А есть тут такой – поет. Подать сюда Ляпкина-Тяпкина: «пой!» – «Да нет, ну я...» Тут как тут четыре жутких кавказца: «пой!» Марат Козей Марат Козеем, но... Одним словом, пошло по новой. «She gave me her body, but she gave it to everybody», «Sympathy for devil». Орут: «Hotel «California» давай!»

На полигоне мое пение приелось. «Русское давай!» – «Не знаю», – отвечал я, думая про себя, что русское петь заподло. Ирония мифа заставила филолога отвечать, как будто вчера из кишлака: по-русски не могу. Потом танцевать заставляли («поешь, так танцуй»), кричать: «Чик-чирик-пиздык-ку-ку! Скоро дембель старику!» – но нет, здесь предел, и я снова вспомнил про Марата Козея. Дал себе клятву: после полигона не петь. Не тут-то было.

В караулке дожидалась скорого дембеля теплая компания из мастерских. «О чувак», – блестел глазами один из них, – а ты Рони Джеймса Дио знаешь? А как тебе АСДС? «Black Sabath»? Слушай, спой, а?» Я ему: «Да ты лучше магнитофон послушай». – «Э-э-э, магнитофон и на гражданке послушать можно будет, а где такое на гражданке услышишь?»

Вижу: парень с душой. Сдался. Собираем с Молчановым посуду, вытираем стол, а мне: «Бросай тряпку, зовут». Там ждут меломаны. Сотрясаясь всем телом, выдаю: «Money, money»; «God, save the Queen, fashist regime», «Now I've got the reason: to be wilder», «Highway star», «Smock on the water», «Can we can».

Одного не мог понять: почему балдеющие дембеля, а с ними Расул-оглы и Вяткин, со второй-третьей песни чуть не блевали от смеха, катаясь по полу? А Молчанов мне сквозь зубы: «Ты, чмо, дембелям поешь, а мы тут за тебя вкалываем». Смотрю на него: вроде очки на носу. «Заткни хлебало», – говорю. Дрались за столовкой, он даже очки не снял, зато так мне по уху зафигачил, что поймал я момент истины. Молчанов был из мастерских, и тамошние дембеля давно ему ребра считали, ну и посчитали еще раз, а

мне Мосяев за Молчанова отомстил: «Обурел? Самый хитрый? Поешь?» Мосяев востренький такой, противный – бац! – наотмашь – бац! Позже объяснилась причина смеха. Смеялись, дай бог, не столько надо мной, сколько от хорошей дозы анаши. Анаша плюс моя песня – что может быть чудесней? Нет, сказал им, «pardon me, boys», но больше не пою.

Будучи уже кочегаром в штабе, напоролся на одного бывшего штабника: «Ну-ка, спой мне, братан!» Гляжу, парень хоть и дед, но жидко форсит. – «Нет, отпелся». – «Что, охуительный дембель?» – «Ну, дембель не дембель, а петь не буду, хоть убей». Ну иногда разве, для своих: придут из оперативного отдела ребята побаловаться анашой, спою им, пожалуй, из дружбы.

А в Айвадже за планшетом пел во все горло, причем несколько концертных программ было. Пел только для себя, но и чтоб слушали, конечно: ничему не научили артиста из погорелого театра его мытарства и вся эта логика возмездия в мифе (выступаешь? – так и пой чертям на заказ, получай за выкрутасы золото Мидаса!). Другой бы проклял это дело, а я очухался немного – и ну себе: «I don't still the rain 'gainst the window», «One-way ticket», «Don't bring me down», «Take a care on business», «Everybody knows this secret», «Sunny, thank you for the smile, I love you». – «Да заткнись ты наконец!» – срывался прапорщик Карпенко.

А на новый год готовил праздничную программу по приказанию командира. На радиостанции у Игнатенко разучивали странную песенку. Припев – из «Culture Club»: «Come, Camillia», с выдуманным хвостиком: «O my spring». А куплеты – неожиданно – на слова «Spring» У.Блейка, мотив произвольный. Командир сказал: если не будет концерта, то не будет вам никакого Нового года, в двенадцать ночи строевую споете – и отбой. Я уговаривал Шамсутдинова и Холова стать артистами, бегал по офицерским женам, чтобы те что-нибудь испекли, по ночам репетировал да еще яму копал, так как обещал прапорщику Карпенко, что если он не выдаст командиру, что я спал на боевом посту, то выкопаю ему яму два на два и два метра глубиной. А зубы-то как болели!

И все равно концерт состоялся: даже зубы от возбуждения прошли, даже яма выкопана была – 30 декабря после мертвого грунта, как по волшебству, песочек пошел. Все собрались в ленинской комнате: офицеры, офицерские жены, личный состав. Конферанс мой, сами понимаете, с приемом и игрой: играю в политзанятия, пародируя то замполита, то командира: «Рядовой Шарипов, покажи мне на карте Айзербайджан». Шарипов показывает

«Айзербайджан», и появляется колоритное трио с заунывной азербайджанской песнью под незатейливую гитару. Шарипов находит Ташкент, и завыл в смущении Хохолов, как учили его в кишлаке. Шарипов обводит указкой Украину – после чего румяные Мукойда и Евлан плюс тощий Горб, весело показывая зубы (Евлан – гнилые, а Мукойда – белые, как сахар), запевают непрепенную «Ты ж мене підманула». «А покажи-ка, Шарипов, Англию» – пришло время выходить нам с Игнатенко. Он – чуть впереди, с гитарой, я – из-за его спины, он – отчаянно смущаясь, я совершенно в своей тарелке. «Little lamb, // Here I am. // Let me kiss // Your soft face, // Let me pull your soft wool» – форсирую я, пробуя сапогом пол ленинской комнаты, – и, наконец, – особенно громко: «Come, Camillia», а Игнатенко в тоске подпискивает: «O my spring», а я еще кулаком подначиваю. Рудаков потом показывал в курилке меня – дрыгая сапогом, помогая кулаком и беспорядочно гремя, а Игнатенко – резко изменив выражение лица на испуганно-вытянутое и выдавливая: «O my spring».

Я был счастлив. Перед самым Новым годом я чудесным «кувырком» перевернул быт – и какой! – армейский, враждебный и опасный. Я жрал сгущенку, жадно уставившись в волшебный телевизор, и во мне жило сознание, что человек-оркестр носит в вещевом мешке песню банджо. И в своем стремлении в Ланчхути, в горах – уже в 1988-м – я снова пел на перекурах, как банджо у Киплинга: «Словно дети, изумляйтесь бытию // И радостно стремитесь к чудесам!»

5. Импровизатор

Да, я охотник за Музами, сидя на диване. Тело или тень – все равно. «Да, я замечательно танцую», – говорил я Аникеевой в 88-м, – «я великий импровизатор». Толстое эхо заладило: «Я – великий импровизатор!» Хором с Лидой: «Я – великий импровизатор!» (в течение двух месяцев). Хвастунишка я из мультфильма, а никакой не великий импровизатор! Но танцевать-то надо, тем более, что ни одного танца так и не выучил, а в «English club» вовсю намаялись со мной, чтобы добиться от великого импровизатора каких-нибудь пяти стандартных шагов. Надо танцевать-то, хоть мама и говорила, что я не чувствую музыки, надо прижать к себе Пряникову, якобы по-испански коснуться ее лопаток своими лопатками, поводя плечами, засеменить жестоко и бухнуться

ей в ноги, и прокатиться под ее ногами, и поднять ее на руки, и почти уронить. Потому что в этом мультфильме затаившийся Быт ждет, когда прекратится мой танец, когда перестану я показывать «кувырки».

И я танцую свой танец, где мое «страдающее, само себя зачаровывающее тщеславие получает удовлетворение в единовременном зачаровывании других» (Голосовкер).

Жизнь – или агон, или агония (я и в детстве так чувствовал). Не сумел победить безусловно, умей победить условно, иначе проиграешь. «Меня включили в сборную лагеря по волейболу», – наивно писал я Илье, как будто это могло быть ему интересно. «Я забил три мяча четвертому отряду, я подтянулся одиннадцать раз». «Мой рекорд в прыжках в длину – пять метров». Рассказывал об этом, как интервью давал. Ибо в мифе нет разницы между олимпиадой в Москве и олимпиадой в пионерлагере «Солнечная поляна». Диана-победительница, я писал тебе стихи, думая не о тебе, но о победе. «Громов, как я вчера играл в парке Мандельштама?» – «Уже лучше», – говорит одноклассник Кобелева и Чернышева. Моя следующая игра будет безусловной победой, ибо я – великий импровизатор.

6. Увлечения

Я всегда с надеждой просматривал киноафишу или телевизионную программу, потому что были прецеденты: иное кино может и жизнь перевернуть. Меня всегда удручало: смотришь в экран – ну фильм себе и фильм, а что дальше? Если (по Голосовкеру) во мне борется оргиазм и число, то требование числа: упорядочить впечатления. Упорядочение значит состязание впечатлений, конкурс, в результате которого выстраивается иерархия: годовые десятки лучших фильмов, книг, спортсменов. Число упорядочивает оргиазм с 1979 г. по сей день, а на вершине иерархии, в первой десятке, – воля оргиазму. Бешено влюблялся в книги и фильмы и через эти книги и фильмы начинал смотреть на жизнь. Как читатель и зритель, я был максималистом, желая для любого героя всевозможных побед превыше здравого смысла и логики сюжета. Энергия любимого героя никогда не ограничивалась пространством текста. Мне самому хотелось сыграть его, увидеть его, пережить его вне текста: во сне, в Вечерней или Дневной стране или еще как.

Сначала безумное увлечение «Волшебником Изумрудного города». Я страстно болел за Льва и Дровосека, умилялся Страшиле и Тотошке, но главный урок книги – зеленые очки, превращающие стекло в изумруд, фокус-обман, когда каждый рад обмануться.

Затем, конечно, – «Три мушкетера». В тетрадке, где записывал прочитанные книги, против названия книжки, в которой хоть раз упоминалось слово «шпага», рисовал условный значок. Папа строгал мне шпаги и делал гарды из проволоки. Я размахивал ими, ломал их с треском, а папу спасла от славной смерти после удара мечом по башке только шляпа. Дома появились настоящие спортивные рапиры. Звенели ими с папой в коридоре, одев тулупы и маски. Пластмассовые игрушечные шпаги тоже пошли в дело. Вообще, все вещи делились на те, которые могли бы сгодиться как суррогат или символ шпаги, и на те, которые в этом смысле были безнадежны. Кстати, тенденция делить весь мир на вещи-для-меня и вещи-в-себе (но это в скобках).

Страну свою назвал Трое-Муше (от «трех мушкетеров», понятно), а Гаррисон свою – Д'арт-порт-ар-атания (в честь кого – угадайте). Как-то мой король – Генералиссимус – вышел у меня из доверия, а его фаворит Лоу стал и моим фаворитом. Генералиссимуса в отставку, Лоу – королем. Генералиссимус – за помощью в Д'Арт-порт-ар-атанию, которая по части вала и вооружения не чета моим владениям. И вот уже Лоу в плену, его должны казнить. Но не так, как обычных воинов (тех в конечном счете оживляли), а, трепещу сказать, на краешек форточки и – хлоп окошко! Едва сдерживая слезы, я строю всех своих лучших рыцарей – де Лилло, де Маро, де Тревиля, де Варда – всех, и они говорят: «Нас тоже».

Ужасный надрыв – как видите. Гаррисон же и глазом не моргнул, отправив всех за окошко. Потом собрал на улице – и принес мне – всех, кроме Лоу. И обыскался же я его – все тщетно. Эх, настучать бы за все это Гаррисону по рогам, но нельзя: не умеешь сыграть катастрофу, не играй вообще.

В 1982 г. перечел «Тома Сойра» с «Геком Финном», и жизнь моя пошла по другому руслу. Мне исполнилось шестнадцать лет: пора было почувствовать свое прошлое как имперфект. Пора было придумать своему прошлому форму, и остров Джексон стал мифологемой номер один – «тем» пространством в «том» времени... Обреченный на «это», на «данность», волшебник-недоучка затосковал. Два месяца я читал и перечитывал «Тома» и «Гека», писал в стихах: «Том, на минус десять был я слеп», или про остров Джек-

сон: «Остров мой от житейских проблем в стороне», в остальное же время придавался дикой апатии. А потом вдруг такое началось: прочитал Уайльда с Киплингом, проштудировал «Английскую поэзию в русских переводах», Блейка, Донна, Диккенса, дал клятву заниматься английской поэзией и — сейчас могу сказать — исполнил ее. Затем пошел в поход, о чем раньше не было и речи, в пионерлагере ушел из палаты и стал анахоретом, ударился в стихи, завел дневник, влюбился в Цветаеву, без инверсий стал и фразы не способен написать, а в итоге улетел в Мирный, где к концу года поприще мое было окончательно решено.

Главное, я знаю день, когда переворот совершился. То воскресенье, в конце марта, когда сначала фильм Говорухина про Тома Сойра показали, а потом еще Сенкевич сетовал о погибших экспедициях на Эверест. «Ну и на фига я живу!» — думал я, кропя слезами подушку, — Ни острова мне, ни вершины. Завтра в школу, а после школы домой, ну и какого черта! «Динамо» Тбилиси играет со «Стандартом», да еще и проигрывает: а не вспомнить ли крамольную сентенцию про двадцать и двух бугаев, пинающих пустую сферу!»

Вот до чего дошел в своем поиске смысла, а ведь если счет матча — это число, то футбол — всем оргиазмам оргиазм. Когда наша сборная проиграла Олимпиаду-80 немцам, я ушел от телевизора, шатаясь от горя. В том же году «Динамо» (Москва) сыграло дома вничью с «Нефтчи» 0:0. Я никогда не был плаксив, но всему же есть предел. «От Москвы и до Панамы все болельщики «Динамо»!» — истошно орал я среди динамовских фэнов. Втиснувшись с ними в вагон метро или участвуя в динамовских демонстрациях, чувствовал, как закипают пузырьки восторга где-то вверху живота. Смысл моей жизни разыгрывался там — двадцатью двумя бугаями на вытоптанном газоне, а пустая сфера и была моей Психеей, и стоило ли жить после поражения «Динамо» от «Локерена» в 1982-м или от СКА(Р) в кубке СССР-81? Так что насчет «Динамо» Тбилиси — «Стандарт» я, копящий и переписывающий справочники, которые вкупе с тетрадями мама и прихватила, когда меня взяли в милицию после демонстрации в 1981, — чтобы, разложив их перед ментом, пролепетать: «мой мальчик» и т.д.; ну так вот, насчет «Динамо» Тбилиси — «Стандарт» я, готовый разыгрывать пальцами и шариком от настольного тенниса все чемпионаты мира от тридцатого года, конечно, переборщил: ведь уже в июне, уставившись в волшебную лампу телевизора, по которому передавали матч Франция — ФРГ, я неистово кусал ногти и сомнамбулически шатался, как Лобановский.

Надо ли говорить, что всякие знаменитости от Аллы Пугачевой времен «Арлекино» и «Очень хорошо» до «Pink Floyd» в 1980-м – это все были предметы страсти и инстинктивного мифотворчества.

Скажу банальность, но что делать, если это факт? – тени литературных героев, или сошедшие с экрана, или футбольные тени, или живущие в магнитофоне – все эти тени действительно кружили вокруг меня, когда я шел из дома в школу и обратно, или возвращался затемно с некоторым трепетом из читалки, а там – на энной странице оставлен Жюль Верн или Конан-Дойль: я смотрел на мир и видел вещь, но между вещью и мной скользили прозрачные тени, и я готов был идентифицировать себя с ними, забыв о вещи. Симптом зловещий – как если бы Иксион возжелал не Геру, а тень ее. Вот что: пусть оргиазм мифа посылает мне волнующие тени! – мое дело устроить число мифа. А вещь? – я заарканю ее петлей мифа, сделаю вещью-для-меня. Если я обречен теням, они уж наверняка мне помогут.

Знаете, когда телевизор барахлит, то за каждым футболистом бегают три тени. Мое видение людей вокруг меня часто было тем телевизором. По пионерлагерю ходил Артур Чилиджан. Его кеды просили каши или на нем было уже совсем расхлябанное подобие сандалий; штаны рваные, рубашка навыпуск, ходит вразвалочку, небрежно шаркая по асфальту, сплевывая или ленивой, сосредоточенной слюной, или стремительным далековатым харком без подготовки. Говорил сквозь зубы, стильно вращая черными глазами. Король! «Дай конфетку», – говорит ему одна бойкая девчурка, а он ей, не спеша: «Есть у меня для тебя конфетка – большая и о-о-о-чень вкусная». Во циник! Не мне чета, но тем обманчивей подсветка испорченного телевизора. Гаррисону вовсю рассказывал об Артуре, а Артуру бы, если бы король пожелал меня выслушать, непременно бы рассказал о Гаррисоне: как он английский знает, как «Top-20» по BBC слушает, какой он мифический злодей, какая драма с ним дружить. Но впрочем, пустое: что до меня скользящему по асфальту в бутафорских рваных кедах величественному Чилиджану или властному Шефу, чья уверенная рука приоткрыла для моего смущенного взора альков Медицинской энциклопедии.

С годами из Гаррисона весь мифический пар вышел, зато я ему так о Нижнем рассказал, что выступила у него на лице испарина провинциала: да ну? – то-то. Где испорченный телевизор, там непременно и телефон испорчен. В Нижнем я и сам гла-

зами хлопал, сколько всяких чудес вокруг. Например, если я с кем-то общаюсь, воздух, вылетающий у меня изо рта, забит словами, а Калачев скажет слово-другое – стоп! – многоточие: плечами пожмет, нос пощекочет, глазом просверлит – вместо слов значительные пустоты, за междометиями и разной хитрой фонетикой стоит, надо думать, несказанное или лучше, как Громов говорит: «несказаемое». Тоже мог ошеломить демоническим цинизмом по ту сторону добра и зла, и – вдруг! – внезапные порывы. Да он благороден! – физкультурнику понес бутылку за меня, чтобы тот мне поставил зачет. Физкультурник не врубился, кто перед ним стоит: да что это вы мне? – Пашка цыкнул только (по собственному его рассказу) – зачет в кармане.

Да что это я о таком пустяке? А вы знаете, на приисках на Урале – да он едва ли не золотишко щупал. А в четырнадцать лет в загородной общаге оказаться не слабо? А что он там испытал – молчок! Ранняя зрелость знает, что почем. И голод? – и голод. И дело на кулачки? – наивный вопрос. И пьянство-хулиганство? – презрительно хмыкаю вместо ответа. А блуд?? сказал, молчок! Да он трахал всех этих баб с двенадцати лет направо и налево, а потом на скрипке играл. А в шахматы? – жаль бросил, но талант на то и талант, чтобы талантами разбрасываться. В балете танцевал. Еще подростком был – а уже такие бабки заколачивал, что милиция шла за ним по пятам, да он вовремя в армию свалил. Там он уже крутой сержант, лучший радист Варшавского Договора. Трусики женские перед входом на радиостанцию трепещут, как флаг в лицо офицеру. Овладел он каратэ или не овладел – там, в армии, – все же неясно: кажется, овладел. Да его дружки по тюрягам сидят, а он стихи пишет – да какие! – его пулеметные бонмо замучались собирать. Пашка, вот стол на день рождения Ару. Каламбур, быстро! – «Стол без водки, что гребец без лодки». А вы представляете себе, насколько он начитан? А вы знаете, что с ним вот так – запросто – беседовал черт? Чего в нем нет, то сам придумаю.

Да это миф, явленный миф; на луну посмотришь с его балкона – луна шевелится в черных небесах, а пить с ним – что с самим его давешним собеседником. Ну и все мы, конечно, – калачевствующие молодчики или около околачивающиеся элементы, у нас калачится в мозгах – все словечки тогдашней и тамошней субкультуры. То-то Гаррисон много позже, когда все это стало плюсквамперфектом, все равно очумел, побывав в Нижнем: только и слышишь от него потом: «что из Нижнего? что из Нижнего?» Да

что там, сам бородатый Кукин поддался на волшебство. Тогдашнее, совсем тогдашнее, но столь властительное, что всей моей Москве до сих пор снится.

Мидас чего не коснется, все превращается в золото мифа. – «А кушать что будем?» – вы правы, мой холодильник пуст.

7. Ожидание чуда

Я не верю в чудеса, хотя без чуда не могу и шага ступить. Я величаю быт хаосом, персонифицирую его в виде чудовища – и это моя болезнь, зане не дано мне ни быта, ни чуда. Какой быт, если земля раскачивается под ногами? А чудес не бывает – не вообще, но для меня. Но чудо слишком для меня актуально. И сколько бы я не был рационалистом, чудо остается чем-то, необходимым моему организму. Ожидание чуда и ставка на чудо – моя дурная привычка, неизменный факт моего быта.

Моя метафизика не верит, а физика волит! Дурная воля со дна! Тупое «хочу!» ребенка, а вместе с тем подобие похоти. Когда рассказывал Шайтанову гурийский миф, профессор пожал плечами: «Эти игры кончились в тринадцатом году». Но уверяю вас, совершенно невольно, Игорь Олегович: не культура, а натура. Животное ожидание чуда знать не хочет о тринадцатом годе, но я борюсь, Игорь Олегович, упираюсь. И чтобы выдержать равновесие в этой обреченной на провал жизни, я присягаю десятой софистике и рациопарадоксу.

«Вымаливать чуда у быта», – написал Чичибабин. Как будто обо мне. В 1978 г. в Ейске решил умилостивить богов из только что прочитанных «Легенд и мифов Древней Греции» Куна. Но как же им передавать мои жертвоприношения: яблоки, дольки арбуза, пряники, конфеты? Вот что: по горизонтали – мерное, таинственное и касающееся горизонта – что такое? – правильно, море. А по вертикали – глубокое таинственное и зловонное – что? – верно, Аид. Вот потихоньку и выкидывал в море или в очко деревянного сортира свои скромные гекатомбы. Буль! – жертва принята. Следующая пойдет Посейдону.

А рассказать, как жрал билетики перед экзаменами в Нижегородский университет? На автобусе до университета одна остановка, а я всю жизнь зайцем ездил, но в этот раз нет – покупаю билетик. Конечно, счастливый! Вчера-то я «Севильского цирюльника» по радио слушал, варенье дегустировал и еще чем не знал заняться,

только бы не готовиться к этому страшному экзамену по истории СССР. Ночью сел за энциклопедию вместо учебника, но тот отчаянный прищур над книгой перед экзаменом – это был только ритуал. В энциклопедии я дошел до Пугачева, все до Пугачева забыл – только Пугачев едва различимым пятном. Вытаскиваю билет потной рукой – и тот сходится с билетиком. Пугачев!

Сдаешь экзамен всегда с твердой, взятой напрокат верой, что там, наверху, о тебе позаботятся. До сих пор нахожу в карманах разные талисманы, которые связывали меня с моими парками-хранительницами, а те должны были подправить любую нить так, чтобы мне было хорошо. Но если что-то все же получалось плохо, если не везло или совсем беда, так и хотелось воскликнуть: вы обознались, это же я! Впрочем, от занимающейся только тобой небесной канцелярии можно ждать и сюрпризов – испытаний, например. Варианты испытаний могут быть разные – пример: если буду бегать каждый день в течение года, будет дана мне большая любовь, а «Гурии» – успех ошеломляющий. Вернусь домой за забытой вещью – лары и пенаты скажут: не забудь в зеркало посмотреть, чего бы не вышло. Мама научила – свято блюду. Вообще, все мои суеверия не просто так, а дань безумно меня обожающим, но ревнивым и обидчивым богам.

«Но как же так! – шептал я одному из них – футбольному богу, выбрасывая мусор в перерыве матча Греция – СССР в 1979 г. – Ведь ты же отнял у «Динамо» Москва кубок СССР в этом году – и снова? – ну не величайшая ли несправедливость?» А обращался к нему не иначе – «Господи!» Футбольный «господи» особенно капризен, зато остальные «господи» должны были работать за двоих, выручать меня и хранить – и непременно выручат и сохранят!

«Господи! – шептал я в госпитале на втором месяце службы. – Сделай так, чтобы меня не послали в Черный батальон и чтобы я остался в Душанбе. Я ведь о многом не прошу, господи, не в Черный батальон, а в Душанбе, только и всего». Остался в Душанбе. Через семь месяцев лежу в качегарке и читаю «Тристрама Шенди» Стена – сам кочегарский шендианец и бендерист. Распахивается дверь: «Рядовой Троян?» – «Так точно». – «Ваш военный билет!» – «Вот». – «Завтра выезжаете в Айвадж». До приказа дней двадцать; снова: «господи, сделай так, чтобы я не сейчас поехал в Айвадж, а после приказа, я ведь о многом не прошу». Еду в Айвадж после приказа. Неусыпная опека небесной канцелярии – надо мной, боевая готовность легиона моих ангелов-хранителей.

А в Айвадже? Занимаюсь посильной магией. На строевой шагаю не я, а чемпион мира по строевому шагу француз Круазе, в ОЗК бегает чемпион Европы по бегу в ОЗК чех Струпола, за планшетом работает чемпион США по планшетному спорту Хьюджсон.

Кормили в Айвадже плохо. Месяцами не было хлеба, картошки, старшина воровал; когда же Мукойда зарежет свинью, а шкуру ее опалит паяльной лампой Шамсутдинов, в тарелке будут непременные свиные жирные шкурки с короткими волосками. Шкурки, конечно, на край тарелки, а с остальным меню можно работать. Вообразишь страну «Молочные реки — Кисейные берега», но на западный манер: жуешь сухую картошку и комбинируешь вовсю, какие бывают блюда из картофеля — я поедаю их в той стране, мне приносят вечерние газеты, по Video показывают голы последнего тура чемпионата Англии, рядом магнитофон и наушники. А если рыбные консервы на ужин, представляю себе приморское кафе и возможные чудеса с рыбой в Волшебной стране; вот что помогало мне в борьбе с медлительным Хроносом.

Во мне постоянно присутствует сознание, что я живу не так; более того, что я вовсе не живу, а только готовлюсь жить. С жизнью необходимо что-то сделать, чтобы она пошла по-другому; вернее, чтоб она началась. С прошедшим временем проще, утраченное время не нужно искать, оно возвращается ко мне оформленным и завершенным. Атлантида прошлого хранится в моей шкатулке, я кому угодно могу ее показать, но жить-то в ней нельзя. Прошлое плавает во мне смыслообразами, и эта магия мне ничего не стоит. А настоящее горит, рассыпается, шатается, прячется: да его нет! Оно есть только потому, что я за него трясусь; потому, что я бегаю за его призрачным смыслом с беспомощным сачком (впрочем, вот моя коллекция: прекрасные образцы прошедших carpe diem на булавках).

И дело не в том, что жизнь не дает мне того, что я прошу. С тех пор, как перед поликлиникой я умолял на бегу бога о том, чтобы мама была жива, а в поликлинике на третьем этаже я спросил медсестру, где сороковой кабинет, а медсестра спросила меня: «а что вам нужно?», а я сказал: «да там моя мама», а медсестра сказала: «твоя мама умерла»... с тех пор я мало на что надеюсь, то есть кое-о-чем еще прошу у последних полудохлых божков моего детства, но с тех пор вся ставка моя только на себя. Дело в другом: в том, что даже житейские планы в настоящем всегда терпят крах, что я себя не оправдываю в настоящем, что я проигрываю в настоящем, что в настоящем самый конкретный смысл не сбывается — я не знаю, что делать с настоящим, я растерян перед лицом настоящего, и оно только потому еще чего-то стоит, что завтра будет Новая Жизнь.

Новую жизнь с понедельника не я выдумал. Но надо мной это словосочетание имеет особенную власть. Без допинга этих двух слов я расклеиваюсь на глазах. Я не помню, когда я их впервые произнес, я не знаю, когда я с ними смогу расстаться. Кажется, эта привычка неизлечима.

Лучше всего открывать Новую Жизнь первого января: ожидание чуда в Новый год – устойчивый инстинкт, притом это самая круглая дата. Новая Жизнь может быть приурочена к какому-то событию: к дню рождения, к важной годовщине какой-нибудь. Если нет, тогда новая жизнь имеет другие названия: декабрьский период (лучше с 1 декабря, на худой конец с 10, 15, но получается, что и с 7, даже 5, 12, 20, даже 25). Декабрьский период, в свою очередь, раздробляется на «три недели в декабре», «две недели в декабре», «последнюю неделю декабря». Бывают всякие Летние, Осенние, Весенние периоды, Чрезвычайные периоды, Переходные периоды, Экспериментальные периоды, Рабочие периоды и т.д. Ни одна новая жизнь больше трех дней не продолжалась, средняя же ее продолжительность – несколько часов, частотность попыток – иной раз по двадцать раз в месяц, минимум – три раза в месяц. И так в течение многих лет (примерно пятнадцати).

Открыть новую жизнь не так-то просто: ведь это магический акт. Первое: так сказать, хронотоп Новой Жизни. Открывал Новую Жизнь на море, в горах, когда гасли лампы в кинозале перед каким-нибудь фильмом, на стадионе перед матчем или во время концерта. Чаще всего – дома или на улице ночью. Раньше – больше дома, сейчас – почти всегда в городе. Ночное время обязательно. Исключение – окский откос (ведь и улица у меня в Москве – Окская), когда я гощу в Нижнем. Когда же действо совершалось дома, необходимы были особые условия. Я выключал свет в своей комнате (должно было быть непременно темно), прокручивал пленку магнитофона к заветной песне – их было немного: начало «Wish you were here», «Time», одна песенка «Deep Purple» и еще две-три, не больше, – и с первым звуком музыки зажигал лампу, висевшую над кроватью и одновременно резко, с искрами, открывал глаза.

Сейчас в ночном городе мой маршрут таков: ночью выхожу из дома налево, прохожу мимо котельни, затем поворачиваю в улочку между двух детских садов – в глаза бьет фонарь, зажмуриваюсь, пытаюсь вообразить себе судно и канат, мысленно разрубаю канат и рисую где-то у переносицы, то есть почти у горизонта, парус, предельно зажмуриваюсь – и распахиваю глаза на фонарь, затем смещаю фокус, чтобы создать таинственную дымку

вокруг. Открыв Новую Жизнь, прохожу мимо илюшиной пятиэтажки, заворачиваю у мусорных баков, а через дорогу – школа, где я учился до девятого класса, – делаю ритуальный круг у школы и застываю напротив фонаря (если есть луна, все время держу ее глазами). Потом возвращаюсь.

Второе: словесный сценарий Новой Жизни. Начало неизменно: «Внимание, внимание, сегодня такого-то числа такого-то года я открываю Новую Жизнь». Схемы ритуальных речей, конечно, менялись. Общая структура такова: магическое обоснование Новой Жизни (числа, даты, соответствия – совпадения, знаки и знамения), раскрытие понятия, житейское обоснование, стратегия, тактика (цели и методы), планы на сегодняшний вечер. Раньше Новая Жизнь непременно приурочивалась к какому-нибудь празднику: большому футболу, долгожданным фильмам, концертам, поездкам. Теперь эта непременная привязка к праздничной программе отменена. Во время торжественной речи я должен себя убедить, что Новая Жизнь состоится, я должен себя поднять, подпитать, что ли? – прочистить каналы? После провала Новой Жизни, а он неизбежен, следует апатия, упадок, разочарование – иной раз очень надолго. Но бывают такие первые (они же и последние) дни Новой Жизни, что долго завидуешь потом тому младенцу-победителю, тому однодневному рыцарю.

Случались в истории этих церемоний удивительные истории. Одна из таких историй приключилась со мной в Нижнем в 1984 г. Тогда я жил в общаге, а оттуда рукой подать до Кремля. Процедура совершалась у церкви в Кремле. Надо сказать, что пока я в течение нескольких лет воображал себя марафонцем вокруг света, привык очень быстро ходить. Итак, как-то вечером иду к церкви открывать Новую Жизнь, иду очень быстро. У церкви, как положено, зажмуриваюсь и распружиниваю веки, напускаю тумана в слепые глаза – хлоп-хлоп глазами: Внимание! Внимание! Медленно иду обратно, шепча с мимическими движениями и жестикуляцией страстный и официальный монолог. Сзади милиционер: «Гражданин, пройдемте в отделение». – «За что??!» – «Вы мочились на памятник искусства. Статья такая-то: хулиганство. Меры тоже предусмотрены». – «Да с чего вы взяли?!» – «А вот с чего: к церкви вы шли быстро, так? А быстро обычно куда идут? Тем более, что обратно медленно». – «Но ведь вон туалет, туда-то сподручнее». – «Э-э-э нет, в том-то и дело, что туалет закрыт».

Вижу: дело плохо. Блюститель порядка увлекается дедукцией. «Я только хочу Вас понять», – говорит. Нужно ему как-то представить причины быстрого и медленного шага, стояния лицом к

церкви, чуть-чуть запрокинув голову. Говорю: «Понимаете, я очень люблю искусство» (унизительно, но не про Новую же Жизнь рассказывать!). «Вот мой студенческий билет. Я филолог. Обожаю эту церковь». – «А почему ночью?» – «Знаете ли, в поздний час особый свет» (и завернул ему что-то этакое – лишь бы не в участок)... – «А почему туда быстро, а оттуда медленно?» – «Понимаете, у меня очень быстрый шаг. А оттуда иду в особенной задумчивости». – «Я только хочу Вас понять. Неубедительно». – «Ну не знаю, я отличник, понимаете, студент-полиглот, ну что Вам еще надо?» – «Ладно, иди, полиглот. Только в следующий раз, когда ссать захочешь к полуночи, зайди в переулок, надо же, додумался, в Кремль по нужде». Поспешая обратно в общагу, я догадался, что попал в сюжет, стал совершенно счастлив и налегке открыл Новую Жизнь...

* * *

Надо же, импровизированные воспоминания получились. Или что-то вроде исповеди. В жанре «по секрету всему свету». Секреты выбалтывают торопясь и запинаясь. Извольте. После бессонной ночи я слегка дрожу. Главный секрет не скажу.

Не надо ждать зрелости, чтобы спеть лебединую песню... <Текст не закончен.>

1991 г.

II. Мы

1. Чудо победы

А теперь о чуде. Чудо не перевернуло моей жизни, но вот оно, со мной...

Начать нужно с «тихого часа». Дело было в 1979 году. «Тихий час» – подходящая метафора для выражения нашего тогдашнего представления о времени – без истории и новостей. Полтора часа обязательного безвременья, охранявшиеся в моем пионерском лагере гораздо строже ночного сна и воспринимавшиеся почти как политический ритуал – в одном ряду с линейками, смотрами строя и политинформациями; нет нужды говорить, сколь долгими казались они. Но были и другие полтора часа – с противополож-

ным знаком: непредсказуемого события и живой истории – стремительно ускользающие. Исключение из правил остановившегося времени – большой футбол, антитеза «тихому часу». «Тихих часов» было много, большого футбола – мало: хорошо, если раз в неделю – трансляция союзного первенства, зарубежные трансляции – только по большим праздникам еврокубков и отборочных. Вот и возникла идея подмены и «симулякра»: как раз во время «тихого часа» и устроить футбол, но без мяча. Только одержимый поймет прелесть игры с титулами и именами: резались бумажки, на них писались счета (в определенной пропорции: например, 1:0 – 45 бумажек, 30 – победа хозяев, 15 – победа гостей; 5:0 – 4 бумажки, 7:0 – одна), далее – составлялась сетка турнира (кубок и первенство СССР, еврокубки, первенства Европы и мира), объявлялись соперники, тянулся счет, а результат записывался в таблицу. Плюс фантазии насчет подробностей и откликов прессы.

Для начала, переписав сетку из справочника «Футбол-79», разыграли кубок СССР – результат озадачил: выиграла неизвестная нам «Гурия».

Прошел месяц. Лагерь закрылся. Продолжением «тихого часа» стали тихие дни на даче в «Заветах Ильича», с тем же ощущением «конца истории», завещенного Ильичем. Как средство против медлительных вечеров с шашками и лото – вновь из молочного пакетика был извлечен «бумажный футбол». Жребий оказался настойчивым: опять «Гурия» – с кубком. Ничего другого не оставалось, как только откликнуться на совпадение: придумать «тот мир» большого футбола, в центр его поместить Ланчхути наподобие «Нью-Васюков» и затеять игру – в «Гурию», из второй лиги прорывающуюся в лучшие команды мира. До сих пор помню «основу» той призрачной команды: лучший вратарь мира – Нодадзе, лучший полузащитник – Саладзе и лучший нападающий – Шелия.

Здесь уж пришел черед «Гурии» – не «бумажной», а «настоящей» – воплотиться, как Галатее. Стоило нам в 1979 году начать игру с именем «Гурии», как она «взаправду» вышла в первую лигу – впервые в своей истории. Радостно удивившись, мы с готовностью приняли новую игру – в «Гурию», будто бы созданную нами. Весной 1980 года уже ждали новостей: с какого имени начнется реальная «основа» «Гурии»? Кубок СССР. «Памир» – «Гурия» 5:1. Единственный гол забил – Шелия, а после этого таинственно исчез – даже из заявочного списка. Это знак, – в шутку решили мы, – знак связи, установленной между воображаемым миром и реальностью.

Лето 1981 г. – ожидание встречи: «Гурия» открывала Москву. Лагерному художнику был заказан трафарет; мама обстрочила простыню; папа вывел на ней надпись по трафарету: «Гурия Ланчхути». На стадионе «Локомотив» сидели 300 апатичных болельщиков «Локомотива», рота солдат-грузин и мы – жующие яблоки и с нашим флагом, спрятанным в сумке. Достали флаг, когда Чхаидзе с подачи Мегреладзе забил победный гол. «Вы что это, яблок объелись?» – удивился наш единственный сосед по сектору. Так начиналась «большая игра», со строк, тогда же, по следам той победы и сочиненных:

Если на поле Троян,
Значит нету равных нам.
Если Мегреладзе бьет,
В нашу пользу будет счет.

Летом 1985 г. в таджикском поселке Айвадж сержант отдельной роты РТВ Мамуладзе из Батуми сказал мне: «Никогда «Гурия» не выйдет в высшую лигу». Осенью 1986 года «Гурия» в высшую лигу вышла – спустя семь лет после первого чуда; это – стало вторым, «достоверным, ибо ни с чем несообразным», «несомненным, ибо невозможным». Подобного никогда не было в истории советского футбола, да, в сущности, и быть не могло. Население Ланчхути – 8000 жителей; в первой половине века – «это ни село, ни город. Называлось оно – местечко, то есть среднее между городом и селом» (Г.Урутадзе); статус города «местечко» получило в 1961 г. В высшей лиге же, за редким исключением, играли или города-миллионеры, или столицы союзных республик (исключения – крупные областные центры, с сотнями тысяч жителей, например, Краснодар, Ворошиловград, Симферополь или Днепропетровск). И вот – «местечко» со своими 8000 под микроскопом. В межсезонье, накануне высшей лиги, всего за три месяца по обычаю «нади», «всем миром», в Ланчхути был перестроен стадион – первый в Союзе чисто футбольный, без беговых дорожек, расчитанный на 25000 зрителей, то есть в три раза больше всего населения городка. В лучшие времена «Гурии» он был почти заполнен – не рекорд ли это для книги Гинесса?

Цифры красноречивы, но недостаточны. Увиденное своими глазами усилило впечатление – яви, забывшейся сном. Летом 1988 я совершил паломничество: Приэльбрусье – перевал Бечо – Местия – Зугдиди – Ланчхути. На последней перед Ланчхути остановке – в Самтредиа – из «Икаруса» вышли почти все пассажиры; с

водителем осталось пять человек; все глаза были устремлены на меня, все разговоры были только о «Гурии». – «Ты откуда?» – «Из Москвы». – «У тебя здесь родственники?» – «Нет. У меня здесь любимая футбольная команда». – «Удивительный человек». В городке, замершем в ожидании матча с «Ростсельмашем», на улицах оказалось гораздо больше свиней, чем людей. Свиньи паслись на клумбах центральной площади, не обращая внимания на два непропорционально больших монумента: первый – очередная вариация на тему «Рабочий и колхозница», второй, конечно, – Ильич со своими «Заветами». Несколько пустых улиц, огромный лозунг с ошибками в русском языке, три магазина, пятиэтажная гостиница, построенная специально к выходу «Гурии» в высшую лигу. В гостиничной столовой тоже ждали футболистов «Ростсельмаша». «Когда же они приедут? Ужин стынет», – сетовала повариха, кажется, единственная русская из местных. Пришел на станцию. Гулкий зальчик, в нем – человека два. Чувствуя себя со своим русским языком чуть ли не Афанасием Никитиным и потому стесняясь спросить время, стал искать циферблат – тщетно. Тогда попытался сопоставить расписание поездов с самими поездами – никакого соответствия. Тогда решил спросить у гордой билетерши в шлепанцах и с орлиным носом, когда будет поезд на Сухуми. «По расписанию», – ответила она в первый раз; «Нет билетов», – во второй; «Такого поезда вообще нет», – в третий. Ночевал здесь же – на станции – вместе с каким-то пьяницей и двумя собачонками; по пьяным воплям и собачьему визгу, чередовавшимся в правильной последовательности, научился определять время. На другой день ко мне стали подходить с вопросами. Сначала – три станционных парикмахера, за все время моего пребывания так и не постригших ни одного человека: «Ты случайно не из Ростова?» Затем – милиционер: «Ты – русский. Что ты здесь делаешь?» – «Я из Москвы. Болею за «Гурию». – «Удивительный человек». С приближением времени матча на станционную площадь стали съезжаться автомашины; городок раздулся от людского потока и зашумел; к началу матча на стадионе было не меньше 20000 зрителей, включая женщин в национальных одеждах; послематчевая автомобильная пробка не могла рассосаться в течение трех часов, слепя фарами и гудя клаксонами. Где же я побывал? В сонном царстве вечного «тихого часа», чудесным образом пробуждающемся – на полтора часа раз в неделю.

Вернемся в 1986 г. Не сошли ли тогда футбольные Парки с ума или, может быть, мы вмешались со своей игрой в их многостаночную пряжу? Придуманное нами – сбылось; потрясение от

этого было столь велико, что требовало немедленного действия. Тогда-то и состоялась знаменитая клятва, подобная той – данной ланчхутскими революционерами «Третьей группы» на холме Нафицвара в 1898 г. 31 октября 1986 г. мы решили организовать «Гурийский клуб» и завести «Гурийскую тетрадь».

Лето–осень 1987 г. Смирившись с неизбежностью возвращения «Гурии» в первую лигу, испытал потребность в лирическом обобщении. С детства я мечтал писать стихи, но не было темы; «Гурия» дала мне ключи: во-первых, чудо, во-вторых, переживание, в-третьих, сюжет. «Ego parvus»: я получил тему, но маленькую; ключи, но только от «детской», секрета высокой культуры не открывающие. Но помимо ключей, дана была еще и отмычка – «мистификация», призванная связать нашу маленькую тему с традиционными мифологическими схемами и поэтическими клише. Появился план: поиграть в высокую культуры, спрятавшись в пародичности и бурлеске, научиться переводу маленьких фактов с футбольного языка на язык культуры. Нам было по двадцать: самое время и игре нашей отпраздновать совершеннолетие. Самое время детскую «гиперболу» (пытавшуюся вообразить «маленький футбол» наравне с «большим») превратить в «перифраз» (чтобы попытаться рассказать о «маленьком футболе» в терминах «большой истории») и «метафору» (чтобы придумать связь между «маленьким футболом» и «большой историей»). Первый опыт был сочинен по перифрастическому рецепту:

Гурия в горние кущи на крыльях заемных взлетела –
Ввысь на крылах восковых – оных зиждитель Дедал.
Так. Но суровые боги предел положили для дерзких:
Плавятся крылья и падает звездный полет.

Дальнее солнце отрадною греет мечтою.
Близкое солнце губительно смертных мечтам.

В нем почти каждое слово подлежит переводу – например, эпитеты: «горние» означает «выход в высшую лигу», «дерзкие» – «неожиданность выхода в высшую лигу»; «восковые» – «неизбежность скорого возвращения в первую лигу»; «заемные» – «околофутбольные махинации». Так и писал в дальнейшем. О травмах и дисквалификациях (с аллюзией из «Персов» Эсхила):

Плач, громче плач, плач, в грудь бия, и воем вой!
За боем бой слабеет строй, поник за воем вой.

О необходимости подготовки к следующему сезону в первой лиге (с аллюзией из Мандельштама):

Осень. Не тяжко вздыхать, а копя на
Новый виток кругового смиренья,
Осень прожить, отпустить Акопяна,
Новыми снами обманывать зренье.

О том, как Вахтанг Копалейшвили ударил в штангу в матче с ЦСКА (с аллюзией из Бодлера в переводе Цветаевой):

Вы ли, герои окопа, лишили
Цели желанной движенье Вахтанга?
Нет, то судьба! Что же, Копалейшвили –
Будущность? Свет? Обретение? – Штанга!

О том, как Хлус ударил выше ворот с пяти метров в том же матче:

Хладом прихлынувших лет захлебнулся!
Сколько я ждал – и на сколько дождался!
Близкий удар белокурого Хлуса
Где-то в астральных мирах затерялся.

О том, что после матча московского «Спартака» с «Гурией» первый занял первое место, а последняя – последнее:

Лукавый раб, взошед на пьедестал,
Являющий подобие столпа,
Вокруг кричат – и имя им толпа.
Не с ними я, и я один – отстал.

Следующий шаг – к метафоре: сначала захотелось поиграть в «далековатые идеи», в «correspondances» на неожиданном материале, затем – в волшебную страну, прародину человечества и «пуп земли»:

Между Супсой и Риони,
Озургети и Сенаки –
.....
Все мы родом из Ланчхути;
Смутно помним лишь об этом.

Придумывать начали ab ovo – с золотого руна Колхиды, пришли же к тому, что от судьбы футбольной команды «Гурия» напрямую зависят судьбы мира. Все это, конечно, было расчитано на комический эффект. Смеялись и сами, но вместе с тем верили – понарошку, согласно закону игры: «in falso veritas».

Пять философов по-разному реагировали на это: один назвал гурийские стихи «дурийскими»; другой, напротив, всерьез заявил, что между нами и «Гурией», действительно, существует связь –

астральная, что ли? Третий оказался «двойником»-провокатором; выслушав рассказ о тогдашнем лучшем нападающем «Гурии» – Хлусе, он спокойно сказал: «А знаешь, как моя фамилия? Хлус. Тот Хлус не настоящий, настоящий – я. И игра ваша не настоящая, настоящая – в книге моего лучшего друга Галковского – «Бесконечный тупик» называется». Четвертый оказался племянником бывшего футболиста «Гурии»; подойдя ко мне после публичного прочтения гурийских стихов, сказал: «Моя фамилия – Эбаноидзе, да, племянник того самого. Мой папа – писатель, сам я – поэт. Ваша игра есть проявление внутренней склонности к иллюзионированию действительности». Пятый подвел итог: «Эти игры кончились в тринадцатом году».

2. Чудо поражения

А между тем кончился «тихий час». В первую лигу «Гурия» вышла на закате «Старого Режима», накануне Олимпиады и афганской кампании; в высшую – на заре перестройки, после XXVII съезда и Чернобыльской аварии. Совпадения, за которые хотелось зацепиться: мол, это «Гурия» разбудила Клио. И что же? Клио, действительно, проснулась, а затем – взбесилась; «Гурию» же, словно в насмешку над нашими мифами, как раз и отдала «в добычу времени».

«Thus hath the course of justice wheel'd about» – «Гурия» первая бросила времени вызов. Подумать только: на что она отважилась в своем невероятном прорыве – тогда, в 1986? На борьбу с ЦСКА: с одной стороны, песчинка на карте; с другой стороны, армия и военно-промышленный комплекс; с одной стороны, инициативное местечко, покупающее славу на левые деньги; с другой стороны, сама командно-административная система, рекрутирующая молодежь со всего Союза. Ясно, противоположности: большое и малое, метрополия и провинция, город и деревня, война и пастораль, etc. Тем удивительнее и многозначительнее четырехлетняя связка: 1986 – ЦСКА на первом месте, «Гурия» на втором (оба выходят в высшую лигу); 1987 – ЦСКА на пятнадцатом, «Гурия» на шестнадцатом (оба возвращаются в первую лигу); 1988 – ЦСКА на третьем, «Гурия» на четвертом (оба остаются в первой лиге); 1989 – ЦСКА на первом, «Гурия» на втором (оба вновь выходят в высшую лигу). 2 ноября 1988 года они играли решающую встречу сезона в армейском манеже (с искусственным покрытием и сеткой, разделяющей футболистов и зрителей; счет 2:5).

Возвращаясь с матча, мы увидели танки, грохочущие по Ленинградскому проспекту – то была репетиция к ноябрьскому параду. По этому поводу было сочинено стихотворение, вот его первая строфа:

Коварна бутафорская трава:
Накроют сетью в театральной зале,
Коль мир разорван, войны развязали,
И танки осаждают острова.

Так и вышло: чтобы разобраться с гордиевым узлом «Гурии», армейцам понадобились танки. К апрелю 1989 они добрались до Тбилиси; что это прямо касается «Гурии», выяснилось не сразу: она еще успела во второй раз выйти в высшую лигу.

Еще в 1987 г. латыш Полишкис (заведующий кафедрой футбола, ГЦОЛИФК) нагадал по полету птиц: «Будете играть во дворе»; то есть – пусть дворовая команда знает свое место. Пророчество более чем сбылось, но вопреки прорицателю, вообще – вопреки всяким футбольным расчетам. Судьба «Гурии» решалась не на футбольных весах. Какому оракулу тогда было ведомо, что ее обидчиком станет Время – Большое Время, ворочающее тысячилетиями? На футбольных весах Полишкис был опровергнут. Галатея 86 года не увяла, но расцвела. Дисциплина киевской школы (от тренера – ученика Лобановского, обладателя Кубка кубков М.Фоменко) плюс грузинские звезды первого ряда (Гурули, Жордания, Ткебучава, Коргалидзе, Данелия) – формула оказалась магической; чудеса так чудеса. Отставание от ЦСКА (через год – второй, а через два года – первой команды Союза) – одно очко; отрыв от ближайшего преследователя – восемь очков.

Вот уж ирония судьбы – прихотливо-жестокая: последствия апрельской танковой атаки ударили по «Гурии» как раз в период ее наивысшего взлета, за три недели до триумфального возвращения в высшую лигу. Танки вызвали центробежные страсти; восемь месяцев страсти эти бродили под спудом, в феврале 1990 вырвались наружу. Грузинская федерация футбола, присягнув поднявшемуся в апреле безумцу Звиаду, отказалась от участия в чемпионате Союза; ритуальной жертвой стала «Гурия», насильно сорванная с орбиты:

Беридзе, Ковтун и Тевзвдзе,
Цомая, Месхи, Хурцилава,
И Угрелидзе с Кацитадзе,
Придонишвили, Ткебучава,
Дозморов, Кузнецов, Тетрадзе,

Кантария, Олифиренко,
Киладзе, Дундуа, Имнадзе,
И Саникидзе, и Фоменко,
И Гугунава, и Чхаидзе,
И Циласони с Беришвили,
Жордания с Абусеридзе,
Пимушин и Кабисашвили
Бормочут: быть или не быть.
Следит в тоске Придонишвили
За маятником: или — или.
Тик-так, тик-так, тик-так... Фьюить!

Так «Гурия» осталась без высшей лиги. Первый секретарь ланчхутского райкома партии мог бы телеграфировать: «Корыто разбито. Фоменко бежал. Как быть, не знаем». Мы же могли бы спросить: «Надо ли думать, что история нас обманула?» В тот год мы не поверили и издевательскому звону мячей: весна для нас так и не наступила. С уходом «Гурии» в 1990-м — «время вывихнулось» и «винт свинтился»; одно за другим — отъезд друзей, распад семьи, смерть близкого человека. К концу года мы очнулись в другом мире: головокружительные качели истории — до тошноты; вместо дома — дудкинский чердак с космическими сквозняками.

Вот тут-то и началась настоящая игра... <Текст не закончен.>

1996 г.

III. Она

Из гурийских стихов

Призраки

Я не катался задумчиво на велосипеде,
Погружая шины в шелестящие лужи.
Велосипед подо мной имел свою волю,
Норовил завалиться или врезаться в прохожих.
Не получилось у меня с велосипедом — его вообще украли,
Как и любимый мяч, в мечтах сухим листом летевший в паутину.
Зато все призраки мои на велосипедах.
Покатаются — и в мяч упругий играют.

1991 г.

Памятник

Ворота настежь...
Где все? — Ненастье ж...
А знамя? — В стирке.
А мяч? — В нем дырка.
На поле? — Лужа.
И будет хуже.

Мой дар убог:
Тоска, лубок.

1993 г.

Recusatio
(К.Гадаеву)

Кто конницу поет, кто пехоту,
Кто дом родной, где рос, кто дорогу,
Иной — на злобу дня, тот — о вечном.
А мне милы мои футболисты:
Бахтадзе как он есть, Маргиани...
Я их придумал сам. Извините.

1996 г.

Мераб Мегреладзе

And death shall have no dominion.

D.Thomas

Do not go gentle into the good night.

D.Thomas

Он пятится к цели. Его не постичь — и
Спиной к воротам он видит ворота.
Когда Мегреладзе вернется с охоты,
Он станет дичью.

Все круче чело; седина отступает;
К сутулым плечам ветхий пух прилипает.
Усмешка не прячется в горечи губ ли?
В глубоких глазницах шевелятся угли.

Нос горд и горбат. По привычке — величье.
И впалые щеки — черта Дон-Кихота.
Когда Мегреладзе вернется с охоты,
Он станет дичью.

А черные зубы скрипят в нетерпенье:
Мяч, харкая кровью, он кличет, он в пене,
Устал, задохнулся, зачем, забывает,
Но в старческом выпаде гол забивает.

Он замер... Пружина — его паралич — и
Вновь череп сияет кристаллами пота!
Когда Мегреладзе вернется с охоты,
Он станет дичью.

1991 г.

Теймураз Чхаидзе

Случилось то, чего случиться
Без музы не могло:
Я разговаривал с Чхаидзе —
Мне плечи обожгло.

Он мне сказал: «Ушли двенадцать,
Остался кто — Бог весть,
Кому уж некуда деваться,
Кто растворился здесь.

И не по осени цыплята
Для них — по нищете:
Им год еще за щит цепляться,
Но будут на щите.

На чайной фабрике простои,
Упал на цитрус спрос.
Мой дом стоит, но дым не стоит
Ни лари — выбор прост:

В Тбилиси лучше, хоть частица
Меня всего лишь там».
На том простились мы с Чхаидзе,
А муза — по пятам.

1997 г.

Имеди Дундуа

Дундуа, по скромной смете
Дух смирению уча,
Уж привык из отчей сети
Доставать по три мяча;

Ждать зимы, гадая хмуро —
Привезут — не привезут —
Не руно от Бобби Мура,
А солярку и мазут;

И латать худую подать
Чайным бросовым листом...
Он и нам велел работать,
Лить Сизифов пот лет сто.

1998 г.

Примечания

И.Бахтадзе – футболист «Гурии» (1996).

Г.Дундуа – начальник команды «Гурия» с начала 70-х гг. до настоящего времени (2000).

М.Маргиани – футболист «Гурии» (1996).

М.Мергеладзе – футболист «Гурии» (1977-1981, 1987, 1991-1992); в 1999 г. в возрасте 43 лет выступал за новосибирский «Чкаловец».

Р.Мур – вице-президент Грузинской нефтяной компании, однофамилец великого английского футболиста.

Т.Чхаидзе – футболист «Гурии» (1975-1987), тренер «Гурии» (1991).